

**Кузнецова О. А.**  
(*Санкт-Петербург, Россия*)

**СТИХОТВОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ ВЯЧ. И. ИВАНОВА  
К А. М. ДМИТРЕВСКОМУ**

С Алексеем Михайловичем Дмитревским (1865—1934) Вяч. Иванов познакомился в гимназические годы. В последнем классе они “сообща перевели русскими триметрами отрывок из “Эдипа-царя”<sup>1</sup>. Два года на историко-филологическом факультете Московского университета (1884—1886) еще более сблизили молодых людей. Вместе они посещают “только либеральные лекции”<sup>2</sup>, вместе читают и конспектируют (вероятно, по рекомендации своего учителя, профессора П. Г. Виноградова) французского исследователя античности и средних веков Фюстеля де Куланжа. В автобиографии 1917 года Вяч. Иванов не без иронии вспоминал об этом раннем этапе духовного самоопределения: “Я, конечно, историк, через историю, — обманываю я себя, —

я найду путь к социальному вопросу, к политической деятельности”<sup>3</sup>. Такого рода ориентацию молодого студента разделял, поддерживал, а может быть, отчасти и инспирировал его друг Дмитриевский<sup>4</sup>. “Он, — замечает Вяч. Иванов в той же автобиографии, — собирался посвящать себя истории русского крестьянства и все знал и усваивал себе основательнее меня. При взгляде на него мне вспоминались строки:

Горел полуночной лампадой  
Перед святынею добра”<sup>5</sup>.

Не совсем точно процитированные Вяч. Ивановым стихотворные строки (в тексте “пылал” вместо “горел”) восходят к роману И. С. Тургенева “Рудин” (1855). Духовный облик Дмитриевского ассоциируется у Вяч. Иванова с одним из второстепенных персонажей романа, антиподом главного героя, — Покорским. Прототипом для этого образа послужили В. Н. Станкевич и отчасти В. Г. Белинский. На вопрос: “Что же было такого особенного в этом Покорском?”, — другой герой отвечает так: “Поэзия и правда — вот, что влекло всех к нему. При уме ясном, обширном, он был мил и забавен, как ребенок”<sup>6</sup>.

В пору московского студенчества Вяч. Иванов — частый гость в доме Дмитриевских на Остоженке. С матерью своего друга, вдовой надворного советника Анной Тимофеевны, он “проходит” всего Бетховсна; с сестрой, ученицей консерватории, его поначалу связывают чисто музыкальные интересы: вместе они посещают концерты, специально для визитера Дарья Михайловна исполняет песни Шумана и Шуберта.

Атмосфера легкой юношеской влюбленности, царившая в этом семейном кругу, нашла отражение в написанной в феврале 1885 года поэме:

...Все существо полно  
И нежностью, и чудною тревогой...  
Огонь дрожит. Колеблет ветер мысль...  
Волнуются воспоминаний грезы...  
Горят в душе высокие мечты  
И счастья торжественные слезы<sup>7</sup>

Месяц спустя появляется неременный атрибут “дружеской беседы” — альбом Дарьи Михайловны, куда Вяч. Иванов записывает стихи на случай: приветствие “новорожденному” альбому, поздрав-

ление с именинами и др. На страницах этого альбома предмет сердечной склонности молодого поэта обозначен уже достаточно определенно:

В Вас так женственно, так грациозно  
Дух и тело в гармонии сплелись<sup>8</sup>

— вот стихотворное признание, обращенное к Дарье Михайловне Дмитревской 19 марта 1885 года.

Год спустя, в июне 1886 года, в судьбе Вяч. Иванова соединяется “час воли с праздником любви”: вместе с молодой женой он отправляется “доучиваться” в Берлинский университет. С этого момента его отношения с Дмитревским вступают в новую фазу: близкий друг и теперь уже родственник становится одним из постоянных русских корреспондентов берлинского студента. Их переписка — это, по большей части, диалог молодого, еще не публиковавшегося поэта со своим читателем и критиком, подвергающим все присланное ему на суд добросовестному и тщательному разбору. Помимо этого, Дмитревский — адресат и стихотворных писем Вяч.Иванова, дружеских посланий: “Чайка” (1887), “*Arg mystica*” (1889), “*Laeta*” (1892) и “ΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝ” (1893).

Последнее из них для печати не предназначалось, оно понятно лишь для узкого домашнего круга, так как содержит намеки и шутовское обыгрывание фактов биографии Дмитревского. Такого же рода намски имеются и в поздравительном стихотворении 1890 года “С Новым годом (Леле)” (домашнее уменьшительное имя от Алексея), и во вступлении к поэме “Чайка”. После окончания в 1890 году Московского университета уже кандидатом историко-филологических наук Алексей Михайлович вынужден был по состоянию здоровья переселиться в Ялту, и здесь он избрал себе самый прозаический вид деятельности, по-видимому, не вполне согласовывавшийся с его возвышенными юношескими идеалами, а именно службу в “Уездной земской управе”. По “памятным книжкам” и “адрес-календарям” Таврической губернии он числится в 1900—1901 и в 1905 годах в чине титулярного советника, затем коллежского асессора и, наконец, коллежского советника.

Три “длинных послания”, как определяет их сам автор, — “Чайка”, “*Arg mystica*” и “*Laeta*”, напротив, предназначались для публикации в сборнике “Кормчие Звезды”: заглавия двух первых неоднократно встречаются в планах и набросках состава этой поэтической книги; относительно последней поэмы автор свои намерения осуществил. Все три послания выстраиваются в определенный сюжет,

фиксирующий историю взаимоотношений двух корреспондентов, а также творческую эволюцию поэта.

В аллегорических образах поэмы 1887 года — “пророчицы бури” “белогрудой чайки” и тоскующего о “мраморно-стройной отчизне” “сребристого голубя” — легко угадываются как адресат посвящения, так и сам автор. Лейтмотив поэтического произведения продолжает и развивает споры московских друзей о путях обретения свободы. Реплики Дмитревского в этом диалоге, судя и по переписке, остаются все так же неизменны: с юношеским максимализмом он утверждает, что “собственная свобода” (она для него по-прежнему свобода политическая) “напрямую зависит от освобождения народа”. Другой участник диалога, еще недавно вторивший своему другу “О, мой народ! Чем жертвовать тебе?..” (стихотворение “Раздумья”, 1885) неожиданно для своего оппонента меняет “шкалу ценностей”: “любовь” и “красота” становятся для автора поэмы такими же высокими идеалами как и “свобода”. Еще более неожиданно должно было прозвучать для Дмитревского, писавшего свои письма с чувством и пафосом, но начисто лишённого иронии, созданное три года спустя вступление к поэме “Чайка”, где мотив свободы обыгрывался в нарочито сниженном “домашнем” контексте: “час воли” — отъезд Вяч. Иванова за границу и “последний порог свободы” — окончание Дмитревским университета. После этой поэмы прозвище “Чайка”, по-видимому, закрепилось в домашнем обиходе за Дмитревским, на что указывают варианты заглавия стихотворений: “Посвящение Чайке” и “При посылке стихотворения Чайке”<sup>9</sup>.

Следующее стихотворное послание Вяч. Иванова Дмитревскому — поэма 1889 года “*Arg mystica*”, характеризует “внутренний перелом мировоззрения”, которым сопровождалось переселение автора “Мистического искусства” за границу. К этому моменту “народническая струя” уже окончательно иссякла в лирике находящегося вдали от родины поэта: в то же время открывшаяся его взору сокровищница европейского искусства — неоспоримое для Вяч. Иванова свидетельство религиозной основы культуры. Автор знакомит своего друга и корреспондента с “теургическими задачами искусства”, предлагая в своем программном произведении богатый иллюстративный материал “с характеристиками и Гесиода, и древнего синкретизма, и искусства катакомб, и романских церквей, и готического стиля, и Рафаэля, и современного притязательного ничтожества”<sup>10</sup>. Написанное в год столетнего юбилея французской революции послание проникнуто антиреволюционным пафосом и содержит (на что об-

ратила внимание О. А. Дешарт) скрытую полемику с материалистической и атеистической направленностью взглядов Дмитревского. Текст же содержит лишь одно прямое обращение к адресату: “Когда б ты к нам пришел, на место вольной ссылки”, — подчеркивающее характерный для этого жанра мотив разлуки и надежды на свидание.

Задумав в 1892 году третье послание, Вяч. Иванов взял за образец “Скорбные элегии” (“Tristia”) Овидия. Выбор продиктован не только жанровой близостью (“дружеское послание”), но и перекличками в судьбах двух поэтов. Высланный на берег Понта (Черного моря) Овидий направлял стихотворные письма в Рим, а Вяч. Иванов из Рима, места “добровольного изгнания”, обращается с посланием к свосму другу, живущему на берегу Черного моря на месте древней Киммерии:

В Риме ль о Понте вздыхать? Из Рима ли к берегу Понта  
О перемена времен! — Tristia, Tristia слать?<sup>11</sup>

Первоначальный черновой набросок, вошедший в несколько измененном виде в третью часть поэмы, запечатлел самую раннюю стадию замысла, где текст сохранился в виде незаконченных стихотворных набросков. В нем варьируются овидиевские “скорбные” мотивы, сетования на суровость зимы, жалобы на болезни, описания печальных мест, которые предстают взору автора: “Ты не пришел на мой зов, не пришел киммериец суровый, и зимний Нот из туманной дали, нас в твой придел не примчит. Настала зима. По зеленым полям длинная стелется тень. В душе закипает скорбь... Лихорадка. Притом меня посетила странная грустная гостья... Горько на сердце, не знаешь, что делать. С горя идешь на Монте Тестачьо. Нет печальнее места в Риме для меня. <...> Я выхожу примирен. <...> Я притворяюсь сердитым”<sup>12</sup>.

В дальнейшем развивая этот сюжет, автор смещает смысловые акценты: “вольная ссылка” в Риме описывается как событие радостное, чем обусловлено и название поэмы “Laeta”. Вместо сетований изгнанника появляется хвала Риму (второй эпиграф из Проперция):

В Рим свои Tristia слал с берегов Понтийских Овидий;  
К Понту из Рима я шлю — Laeta: бессмертным хвала!..<sup>13</sup>

Интересно, что восходящий к Овидию мотив суровой зимы сменяется описанием римской весны. Ликующая весенняя природа у Вяч. Иванова “славословит” Риму, подобно тому, как суровая понтийская

зима должна была разжалобить императора Августа. Себя поэт изображает уже не добровольным изгнанником, а паломником, достигшим цели.

Таким образом, послания к Дмитревскому запечатлели творческий рост поэта в 1887—1893 годах. Вскоре события его личной жизни (встреча летом 1893 года в Риме с Л. Д. Зиновьевой-Аннибал и расторжение брака летом 1895 года с первой женой) несомненно расстроили бывшую дружбу.

Из трех неопубликованных посланий А. М. Дмитревскому “*Arg mystica*” находится в печати, два других публикуются: “Чайка” — по самому позднему автографу (РГАЛИ. Ф. 225. Оп. 1. Ед. хр. 2), второе послание — по единственно сохранившемуся автографу (РГБ. Ф. 109. Карт. 1. Ед. хр. 47. Л. 2. об, 3 об.).

### *Примечания:*

<sup>1</sup> Автобиографическое письмо Вяч. Иванова к С. А. Венгеру. В кн.: Русская литература XX века. 1890—1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова. Кн. 8. М., 1916. С. 88.

<sup>2</sup> Черновик “Автобиографического письма”. ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 119. Л. 19.

<sup>3</sup> Там же. Л. 13.

<sup>4</sup> О. А. Дешарт сообщает, что первая публикация стихотворений Иванова в “Русском вестнике” не состоялась, потому что Дмитревские уговорили его не печататься в столь “предосудительном органе” (Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 1. Брюссель, 1971. С. 15).

<sup>5</sup> Автобиографическое письмо. С. 89.

Другой “портрет” Дмитревского, созданный О. А. Дешарт несомненно со слов Вяч. Иванова, см.: Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 1. С. 10.

<sup>6</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 5. М., 1980. С. 255. Авторство стихотворных строк приписывается самому Тургеневу. (См. коммент. на С. 496).

<sup>7</sup> РГБ. Ф. 109. Карт. 1. Ед. хр. 25. Л. 2 об.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 203. Л. 120; 99, 99 об.

<sup>10</sup> Автобиографическое письмо. С. 93.

<sup>11</sup> ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 203. Л. 98.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 1. С. 636.

## Чайка

*А. М. Дмитревскому, кандидату  
историко-филологических наук  
посвящение*

Привет и дар тебе! Свободы  
Порог последний перешед,  
Спешь туда, где юга воды  
Тебе повторят мой привет;

Где с мертвых скал на зорях мгlistых  
Летят прибрежные орлы  
В туманах синих и струистых  
На шумно-пенные валы;

Где с дней старинных и донныне  
В прозрачной мгле на свет луны  
Сереброногие богини  
Встают из сумрака волны.

Когда и мне соединился  
Час воли с праздником любви,  
Пришел я к морю и молился:  
“Мой дар двойной благослови!”

Но было то иное море:  
Туманный и стальной залив,  
На желтых отмелей просторе  
Безбрежный озера разлив.

Сей вид, то грозный, то бесстрастный,  
Я полюбил — среди снастей,  
И в тени лип, и в вечер ясный,  
И в свете призрачных ночей.

Богини в ночь не выходили;  
В тумане не вились орлы;  
Лишь чайки быстро бороздили  
Крылом пустынные валы;

Сверкали искрой в смутной дали,  
Купались в пене снеговой;  
Вкруг мачты голуби летали,  
Попутчиков блестящий рой.

И слышал я необычайный  
Глубокий шум. И сей язык  
Я проникал и ропот тайный,  
И тяжкий вздох, и грозный клик.

И моря мощный гимн сливался  
С наивной песнею любви —  
И пред очами открывался  
Тайник и неба, и земли.

Забыв безумные порывы,  
Влагать я мыслию любил  
К людскому подвигу призывы  
В хор неземных природных сил.

Я знаю: и тебе приятен  
Кропящих брызг морских привет;  
Язык валов тебе понятен;  
Доступен строгий их завет.

Твоей душе уединенной  
Еще не светит женский лик;  
Но ближе ей прибоя стоны  
И белых чаек грозный крик.

Средь грозного моря стояла скала одиноко;  
Гнездились на ней белогрудые чайки в камнях.  
С нее облетали они широкое море,  
Одна за другой возвращались в надежный приют,  
И вновь покидая его, лишь море темнело,  
В валах разносить пронзительно-радостный крик.  
Всех быстрее одна, всех дальше летала,  
Долее всех оставалась меж морем и небом,  
Радостней всех испускала пророческий возглас,  
А на холодной родимой скале тосковала.  
Раз она мчалась над синей безбрежною влагой;  
В пене и брызгах устали тяжелые крылья.  
Но все быстрее неслась она к краю морскому,  
Где стальною чертой кончалась пучина



И пропадала плавучая белая пена:  
Там поднимался корабль с белоснежною грудью,  
С парусом белым и черною гривною дыма,  
И над ним в высоте, сверкая алмазом,  
Серебристая птица кружилась-играла.

И подлетела чайка к высокому носу,  
Робко села на борт опустелый и мокрый,  
Робко взглянула наверх, в светозарное небо;  
Сверху слетал ее незнакомец блестящий,  
Голубь серебристый, и сел на воздушные реи.  
И спорхнула чайка в смущении на волны,  
Трепетно стала кружиться вокруг носа и мачты.

Вдруг она слышит, как голубь на сетчатых снастях  
Издав жалобы кроткие, сладкие звуки,  
Чуждые ей, но сердцу понятные речи:  
Он тосковал в пустыне холодного моря  
По приветной земле, по обителям теплым  
И по радостным ласкам прежней подруги.

Слышала то быстрокрылая, чуткая чайка:  
Прежней дорогой назад стремглав полетела.  
Грудь ее наполнилась болью и страстно горела,  
И все глубже она погружала в полете  
Белую грудь в холодную пену морскую.  
А прилетев, укрылась в щелях утеса  
И от сестер скрывалась до зари вечерней.

Море задернулось тонким дыханьем тумана.  
Берег лизали серо-зеленые волны,  
А вдали серебрились под серою дымкой,  
И на закате пурпурным огнем загорались.  
В розовых тучах уже полукруглое солнце  
Пряталось глубже за резкий край океана,  
И омрачалось светло-зеленое небо.  
Вышла тогда на простор белогрудая чайка,  
Сделала длинные круги над светлою влагой  
И испустила пронзительно-вещие крики:

“Заснули ль вы, сестры? Скорее слетайте на волны!  
Вы чувствуете ветер морской, бороздящий валы?  
Вы чувствуете трепет зловещий в груди океана?  
О, горе-беда мореходцам в открытой дали!”  
Ответили сестры: “Давно ль разлюбила ты бурю  
И стала жалеть мореходцев в открытой дали?”

Мчалась опять среди волн белогрудая чайка  
Прежней дорогой туда, где корабль находился.  
Ночь наступила; закрылися месяц и звезды;  
Ветер один да чайка гуляли над морем.  
Черные волны, холодны волны без блеска  
Рыли под ними глубокие ямы, стена;  
Черное небо висело безмолвно и низко,  
И не кончалась пустыня холодного мрака,  
Сколько вперед ни летела проворная чайка.  
Вот и небо вдали полосой забелелось,  
И заплывали в волнах белые блестящие,  
А глубокое море все громче вздыхало.  
И увидела чайка темное чудо;  
Вбок накренилось оно, и тяжело стенало,  
И бросало вверх горящие искры.  
И узнала чайка корабль: к нему устремилась,  
И летала вокруг, и громко кричала.  
Люди ж на палубе вняли заботные крики,  
Паруса собирали, снасти крепили,  
И постепенно готовились к битве опасной.

Вот погасла опять полоса на востоке;  
Вновь почернели и небо, и пенные волны,  
И внезапный удар колыхнул всю пучину,  
И наполнился воздух ревом и воем.  
Долго корабль бросало кверху и книзу:  
Поспевала едва за ним крикливая чайка.  
Вдруг раскрылося в нем жерло огнесвое,  
Бросило пламень на стройные мачты и снасти  
И багровое зарево в черное небо.  
Взвился в глубокое зарево голубь серебристый;  
Как раскаленная искра, вился кругами.  
Взвилась тогда в высоту и быстрая чайка,  
Сколько подняли ее непривычные крылья;  
Голубя стала манить и звать за собою.  
И как потухли развалины в волнах холодных,  
Робкий голубь прижался к спутнице верной  
И полетел за ней над бурной пучиной.  
Гордо мчалась она и громко кричала:  
Вновь зазывала бурю радостным криком.

Но плескали спокойней и радостней волны.  
Розовый свет густел на облачном небе.  
Ей лишь известной скалы достигнула чайка

И приютила на ней желанного гостя.  
Встало солнце; обсохнули влажные крылья;  
Голубь серебристый поднялся в ясное небо.  
Там кружился-играл, на скалу возвратился,  
Издавал кроткие жалобы, сладкие звуки:

“Горько житье с тобой, белогрудая чайка,  
На гранитной скале, среди дикого моря!  
Ты не знаешь покоя, пророчица бури;  
Волны — твои, а небо тебе недоступно.  
Ах, незнакомы тебе и нежные ласки:  
Дикий крик издаешь ты, не сладкие звуки;  
Веселишься свободой, любви же не знаешь”.

И не решилась криком ответить чайка,  
И не пыталась подняться в ясное небо;  
Молча она окунулась в волны прибоя;  
Голубь же вился-кружил, играя на солнце.

Вновь опустил голубь и жалобно молвил:  
“Горько житье твое, белогрудая чайка!  
И не снилась тебе ни любовь, ни радость!  
Ты не была в моей мраморно-стройной отчизне,  
Где прозрачные воды дворцы отражают.  
Много живет там нас, голубей серебристых,  
В башнях и стрельчатых окнах, и куполах храмов,  
На площадях, среди песен и смеха людского,  
И на лодках, скользящих по улицам влажным.  
Много красавиц бросают там сладкие зерна;  
Много воркует там голубиц длиннокрылых, —  
Там покинул и я молодую подругу...  
Но не знакомы тебе их ласки и речи;  
Рада ты свободе, любви же не знаешь”.  
Вновь безмолвна была белогрудая чайка:  
Только взмахнула крылами, упала на волны  
И, скользя по валам, исчезла в тумане.

И целый день без нее лазурное море  
Кропило утес, пока не зажглася заря;  
И целую ночь без нее блестящее море  
Кропило утес в сиянье луны голубом.  
Но лишь забелел восток, она прилетела  
И гостя звала, ударяя в тревоге крылом.

И помчались вдвоем в тумане прозрачном  
Все на восток, где заря разгоралась пожаром  
В небе и море. Долго и быстро летели  
И наконец увидели дальнюю точку.  
Вот в корабль белопарусный выросла точка;  
Вот корабль приблизился в розовом блеске,  
И взвились с него, завидевши друга,  
Голуби стаей и реяли в небе пурпурном.  
Улетел от чайки спутник серебристый  
И пропал среди стаи в небе пурпурном.  
И повернула чайка сильные крылья,  
И быстрее понеслась скользя над водою.  
Дикие звуки, буреносные крики  
Грудь ее наполняли, излиться хотели  
И огласить широкую грудь морскую,  
И поднять заснувшую в ней непогоду.  
И когда не могла она сдерживать крика,  
Быстро ныряла в прозрачно-холодные волны,  
Белую голову долго во влаге держала;  
И летела опять, и вновь окуналась,  
И бороздила, и пенила тихие воды.

## Εἶς καὶ Παν<sup>1</sup>

*Лучше хочу быть первым в муниципии  
этим, нежели вторым в Риме<sup>2</sup>*

*"Forum pressi"<sup>3</sup>*

Ты предпочел — чем слыть в столице  
Одной из многих единиц —  
Стать всем, как Цезарь в русской Ницце<sup>4</sup> —  
И гордо в малой колеснице  
Засел одной из первых спиц.

И день и ночь о благе града  
Ты полон творческих забот:  
Тебе лишь "заседать" — отрада,  
Тебе лишь Ялты честь — награда,  
Муниципальный патриот!

Ты, как Перикл, чинов decogum  
И мзду презрел<sup>5</sup>; как Цицерон,  
Ты неустанно “топчешь forum”;  
Ты всеми чтим, ты — censor morum<sup>6</sup>,  
О ялтинский Тимолеон<sup>7</sup>!

Ты — Кимон, как благотворитель<sup>8</sup>;  
Ты — Гракх, как земский триумвир<sup>9</sup>;  
Ты — Пифагор, как тел очиститель<sup>10</sup>,  
Тарквиний — как клоак блюститель<sup>11</sup>,  
Алкивиад, как жен кумир<sup>12</sup>.

Ревнитель польз градских и правил,  
Ты граждан счел, второй Катон<sup>13</sup>;  
О, как бы, друг, тебя восславил  
Мудрец, который мудрых ставил  
В мечтах архонтами, — Платон<sup>14</sup>!

Как Аристид нелицемерный<sup>15</sup>,  
Ты — добрых нравов образец;  
Ты (pinus<sup>16</sup> древле беспримерный!),  
Гимена покровитель верный  
Возносишь свадебный венец.

Но той же дланью — ключ темницы  
Ты держишь, бдительный эфор<sup>17</sup>!  
Законов ты блюдешь таблицы  
И, как Минос, не зря на лица,  
Друзей сажаешь под запор<sup>18</sup>.

О, сколько б я тебя ни славил,  
Ты сделал больше во сто крат!  
Какой ты труд другим оставил?  
И скольких юных ты наставил,  
Душ повитуха, как Сократ<sup>19</sup>?

Страницы городских анналов  
Полны тобой, благой патрон!..  
Краса боспорских курналов<sup>20</sup>,  
Пойми же мысль провинциалов,  
И вздохи дев, и сны матрон!

Отдай гражданству долг оброчный!  
Зови дары Гимена сам!  
“Отец отчизны”<sup>21</sup> безупречный,  
Множь Ялты демос полномочный —  
Будь многочаден, как Приам<sup>22</sup>!

*(15/3 февраля 1893)*

## Примечания:

<sup>1</sup> Εἴς Καί Πάν (греч.) — первый во всем и везде.

<sup>2</sup> Источник первого эпитафия — изречение Гая Юлия Цезаря (Плутарх. Юлий Цезарь. XI).

<sup>3</sup> Forum p̄vevi (лат.) — буквально: топтать форум, т. е. находиться в центре общественной, политической, судебной и деловой жизни города.

<sup>4</sup> Стать всем, как Цезарь в русской Ницце... — Вяч. Иванов “сравнивает” своего друга А. М. Дмитриевского, вынужденного по состоянию здоровья отправиться после окончания Московского университета в Ялту, с Цезарем, получившим в управление провинцию Испании. К этому моменту в биографии Цезаря и относятся знаменитые слова, взятые первым эпитафом к посланию.

<sup>5</sup> Ты, как Перикл, чинов decogum // И мзду презрел... decogum (лат.) — приличие, благопристойность. Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — древнегреческий политический деятель. Он, как сообщает Плутарх, не был “ни архонтом, ни царем, ни полемархом, ни тесмотетом” (Плутарх. Перикл. IX); его неподкупность и честность в расходовании общественных денег была всеми признаваема (Фукидид. История. 2. 60, 65).

<sup>6</sup> Senog togum (лат.) — блюститель нравов, одна из обязанностей цензоров в Древнем Риме.

<sup>7</sup> О ялтинский Тимoleon! — Тимoleon (411—337 до н. э.) — древнегреческий полководец и государственный деятель, ярый противник тирании, “справедливо и бескорыстно” управлял Сиракузами, способствовал восстановлению в греческих городах Сицилии республиканского устройства. Этим сопоставлением Вяч. Иванов подчеркивал антисамодержавные настроения своего друга.

<sup>8</sup> Ты — Кимон, как благотворитель... — Кимон (ок. 504—449 до н. э.) — афинский полководец, славившийся своей щедростью. По свидетельству Плутарха, ежедневно готовил обеды для бедняков, “одевал” стариков, его поместья не были обнесены забором, чтобы каждый мог пользоваться плодами из сада (Плутарх. Кимон. X).

<sup>9</sup> Ты — Грахх, как земский триумвир... — Тиберий Грахх (162—133/132 до н. э.) политический деятель Древнего Рима, предложил аграрный законопроект (133 до н. э.), ограничивавший пользование государственной землей и предлагавший передачу ее излишек небольшими наделами бедным гражданам. Являлся триумвиром — одним из трех членов комиссии по проведению этой реформы. Автор послания намекает на интерес А. М. Дмитриевского в университетские годы к истории крестьянства в России.

<sup>10</sup> Ты — Пифагор, как тел очиститель... — “Пифагорейцы практиковали очищение тела — посредством медицины, а души — посредством музыки” (Аристоксен. Пифагорейские изречения. Фр. 26 Wehrli).

<sup>11</sup> Тарквиний — как клоак блюститель... Тарквиний Приск Луций Древний (616/615—538/537) — по римскому преданию, 5-й царь Древнего Рима. При нем были сооружены клоаки (каналы для нечистот), осушившие болотистую часть между Палатином и Капитолием.

<sup>12</sup> Алкивиад, как жен кумир... — Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.) — политический и военный деятель Древних Афин. Плутарх сообщает о его “цветущей” красоте, артистическом нраве и блестящем красноречии, “его поступки часто носили на себе печать какой-то привлекательности” (Плутарх. Алкивиад. 1. XIII).

<sup>13</sup> ...второй Катон — имеется в виду Марк Порций Катон Старший, — (234—149 до н. э.) — римский государственный деятель, строгий судья нравов, прозванный Цензором, блюститель государственного интереса от посягательства отдельных лиц.

<sup>14</sup> Мудрец, который мудрых ставил // В мечтах архонтами — Платон! — архонты в древних Афинах верховные правители республики. Имеется в виду утверждение Платона: “Пока в государстве не сольются воедино государственная власть и философия ...до тех пор... государство не избавится от зла” (Платон. Государство. II. 473).

<sup>15</sup> Аристид — имя образовано от греч. ἄριστος — наилучший во всех отношениях, обыгрывается заглавие послания.

<sup>16</sup> тшцув (лат.) — должность, обязанность.

<sup>17</sup> эфор — надсмотрщик, страж.

<sup>18</sup> И, как Минос, не зря на лица, // Друзей сажаешь под запор. — Минос — в греческой мифологии царь Крита. В царстве Аида Минос — судья над мертвыми, одна из его функций в мифах классического периода — налагать наказания на души преступников.

<sup>19</sup> Душ повитуха, как Сократ? — Герой платоновских диалогов, Сократ называет свой метод философствования майевтикой (от греч. ἡ μαϊευτική — повивальное искусство) (Платон. Тетет. 150a — 151d. Пир 206b — 108e). Вступая в беседу с любым, кто пожелает, Сократ побуждал своего собеседника самого находить истину. Он считал, что продолжает в нравственной области дело своей матери — повитухи Фенареты.

<sup>20</sup> Краса боспорских куриалов — Боспор — античное государство в Северном Причерноморье. Куриалы — в римской империи и провинциях — члены городских советов. Боспорскими куриалами Вяч. Иванов называет ялтинских земских деятелей.

<sup>21</sup> “Отец отчизны” — “pater patriae” (лат.) — титул, впервые присвоенный Цицерону (Плутарх. Цицерон. XXIII).

<sup>22</sup> Будь многочаден, как Приам! — Приам — в греческой мифологии последний царь Трои. В “Илиаде” говорится о том, что он имел 50 сыновей и 12 дочерей (V, 242—252).